

ВСЕОБЩЕЕ БЛАГО

Рассказы

ШУТ

Поздней осенью 1534 года Франческо Форца, властитель артейский, умер внезапно, не дожив семнадцати дней до своих сорока восьми лет. Это был крупный мужчина с внешностью носорога — огромный бугристый нос и маленькие подслеповатые глазки. Мгновенная смерть от удара поразила его прямо в седле, и на землю с коня властитель упал уже мертвым. Его шут, за несносный характер получивший среди придворных кличку Заноза, пустился было в бега, но был вскоре изловлен, доставлен в артейский замок, бит плетью, клеймен каленым железом, посажен на цепь и брошен в пыточной на ночь.

1.

Пир был в самом разгаре. То есть до смерти пьяных пока еще не было, но все находились в легком и приятном подпитии: шумели, горланили песни, несли, не стесняясь дам, жеребятину, похвалялись кичливо всякими глупостями... В общем, веселились на славу. Огонь бушевал в каминах. Было душно. Дамы усиленно обмахивались веерами. Два дога беломраморной масти лежали возле камина и спали вполглаза. Карлы и карлицы, одетые в серые хламиды, точно ночные бабочки, носились по залу, развевая широкими рукавами, и противно хихикали. Музыканты в синих костюмах с серебряными позументами играли тихонько гавот — для лучшего усвоения пищи...

Тут парадная дверь отворилась, и в залу походкой канатоходца скользнул разряженный шут. Правой рукой он вертел непрерывно мароту, а левой подбрасывал в воздух черный шар, весь в серебряных звездах. Бесшумно — ни один колокольчик на дурацкой шапке не вздрогнул — дошел он до центра зала, сложил свои атрибуты к ногам и застыл, прищуривая поочередно то правый, то левый глаз: ждал внимания публики. Гостям было не до шута. Тогда он осторожно подкрался к дебелий расфуфыренной даме, усиленно флиртовавшей со своим кавалером, присел у нее за стулом и вдруг... завизжал свиньей. Звук был такой, как будто бы стадо свиней решили прирезать разом. Несчастная жертва трясла двойным подбородком, махала руками, верещала от ужаса еще пуще шута и, наконец, стала тоскливо икать. Доги проснулись и осатанело залаяли. Гости бурно смеялись и были проказой довольны. Шут был тоже доволен: скалил длинный безгубый рот и двигал оттопыренными ушами — он достиг своей цели и был теперь в центре внимания. Насладившись своею победой, шут подпрыгнул, сделал сальто-мортале и пронзительно заорал, подражая городскому глашатаю, что сегодня покажет гостям чудесное представление под названием «Утро наследника», где расскажет о том, как юный артейский наследник просыпается поутру. С дозволения, конечно, своего господина.

Властитель артейский пребывал в эйфории. Он достаточно к этому времени выпил и был полон радужных мыслей. Поэтому он не очень-то слушал, что кричит ему шут, но слова «представление» и «дозволение» все же расслышал, милостиво махнув рукою.

2.

Есть и пить давали мальчишке тогда, когда были еда и питье, а били всегда и часто без всякой пощады — за подкидыша некому было вступить. Хозяин бродячего цирка, Кривой Корраджо, решил, что публики станет больше, если в труппе будет уродец с головою, как тыква и носом, как у обезьяны. К тому же он оказался довольно способным: здорово подражал голосам людей и животных, а кроме того, разыгрывал препотешные пантомимы. Так что хлеб он свой отрабатывал, хозяин не просчитался.

Ему было четырнадцать лет, когда труппа забрела в окрестности артейского замка. Форца выторговал уродца за немалую сумму, сделал своим шутом — и жизнь его изменилась. Теперь его били редко, а еды было вдоволь; ему не хотелось вновь возвращаться к голоду и побоям, и он очень старался.

С течением времени шут стал ужасно дерзким и ядовитым; собственно, в замке все было слегка ядовитым, и шут исключением из этого правила не был. Отличие состояло лишь в том, что был ядовит он открыто, и беспечно сеял себе недругов тайных и явных — в изрядном количестве. Покровительство властелина расхолаживало, притупляло чувство опасности, вселяло уверенность в абсолютной и вечной вседозволенности. Он приобрел дурную привычку выбирать себе жертву и всякими дерзкими фокусами доводить ее до иступления. Только не всегда это удавалось. Однажды он стал цепляться к начальнику замковой стражи, пытался его известить подколками и ядовитостями, но пузан хохотал до слез вместе со всеми и нисколько не злился. Видя такой афронт, шут скоро остыл и выбрал новую жертву, не слишком при этом досадуя. Но неудачи случались редко. Чаще жертвы его ужасно неистовствовали...

3.

Было раннее, раннее утро. Темное, темное... Очень сильно хотелось, но чертов горшок куда-то запропастился. И он очень злился, и нервничал, и даже слегка повизгивал от нетерпения. Насилу горшок отыскался, но после — это просто ужасно! — пропало причинное место. Оно отыскалось немного быстрее, чем горшок в темной комнате, но было страшно, что оно вдруг не найдется. Ну, слава Богу! Теперь, наконец, все удастся! Но время было упущено, хотелось уже так сильно, что в нем ходуном все ходило от дрожи, и он мазал все время, отчего на полу появилась изрядная лужа. Наконец-то... Он лег рядом с лужей без сил и просто блаженствовал. Но лужа противно воняла... Он снова обшарил комнату на четвереньках, нашел какую-то тряпку и, брезгливо кривляясь, уничтожил следы позора; после улегся и снова уснул, счастливый безмерно...

Все хохотали ужасно. Разъяренные доги лаяли и прыгали, как очумелые. Властитель топал ногами, бил по столу кулаками и слезы по красным щекам текли не переставая.

Анемичный артейский наследник стал сине-зеленым, щека его дергалась, рот перекошило; еще в самом начале он взял из высокой серебряной вазы сочную грушу и теперь в пароксизме бешенства превратил ее в липкое месиво...

Все еще хохотали, когда Форца почувствовал вдруг неладное, оглянулся на сына, сорвался с места, схватил шута здоровенной лапшей за шиворот и вышвырнул вон. Но хохот не прекращался аж до тех самых пор, когда все разошлись. И долго еще после пира вспоминали проделку шута, и при виде наследника прыскали и отворачивались. Казалось, проклятую выходку никто никогда не забудет...

4.

Всю ночь на рыночной площади нагло стучали топоры, были надсадно пилы, бранились усталые люди; к утру помост и виселица на нем были готовы: торопился новый властитель с исполнением своей воли.

Поздним утром два дюжих увальня с постными мордами близнецов схватили шута подмышки, выволокли наверх, швырнули в телегу, запряженную чалой клячей, привалили спиной к заднему борту, взгромоздились на козлы, и телега медленно потащилась по кривым немощным улочкам на базарную площадь.

Еще с вечера ветер натащил на небо жирные черные тучи, а ближе к полуночи мощно и ровно повалил огромными хлопьями снег, первый в этом году, украшая прокопченный, угрюмый, загаженный нечистотами город, скрывая всю гадость и мерзость человеческой жизни. К утру снег прекратился, ударил морозец; теперь было чисто кругом и красиво, и тихо, только галки и вороны кричали, но они не мешали тишине и покою, их не нарушая.

Снег скрипел под колесами. Кругом были красота и покой, но шут ничего не видел, не слышал, не чувствовал. Один только ужас владел им всецело. И только когда проезжали мимо снеговика с двумя головами, в нем что-то тихонько вздрогнуло, будто капелька талой воды упала с сосульки и тут же снова застыла серою льдинкой.

Все те же два увальня втащили шута на помост и поставили перед толпой. Но ноги его совсем не держали, шут рухнул на колени, и стоял перед толпой на коленях, раскачиваясь как маятник. Палачу показалось, что жертва молится напоследок, и он не стал трогать беднягу. А толпа расплывалась перед глазами шута, и не было мыслей, и не было веры, а был один страх, гнилой, удушающий страх...

И тут вдруг случилось... Глаз шута зацепился за рожу рыбной торговки. Жирный губастый рот торговки приоткрылся, сальный чепец над узким наморщенным лобиком сдвинулся на затылок, рука нетерпеливо теребила бородавку на жирном носу...

Ах, что это была за сладкая рожа! Дивная рожа! Страх его внезапно иссяк. Шут встал, не чувствуя боли, весь выгнулся, точно змея, зад отставил, щеки надул, глаза выпучил — и вдруг заорал на всю площадь голосом рыбной торговки, известным любому и каждому:

— А-а-а... Кому рыбки! Кому гнилой и вонючей...

Он орал что попало, корчил ужасные рожи, похабничал и сквернословил... Толпа, поначалу нестройно, хохотнула, качнулась — и вот уже ржала отменно во всю мощь своих легких. А шут принялся за аптекаря, но не закончил: палач, здоровенный детина, одетый в неряшливый черный балахон и стальной шлем с забралом, чтобы не было видно лица, вдруг озлился, схватил бедолагу за шиворот и швырнул его под перекладину, накинув петлю и затянув ее до упора... Пол под шутлом провалился, тело его задергалось в предсмертной невыносимой муке, колокольчики на дурацкой шапке зазвенели... И все было кончено. И только толпа продолжала еще хохотать, доводя до безумия нового правителя артейского замка.

Ночью снова шел снег, а поутру помост разобрали, и на рыночной площади среди снега осталось черное скорбное место. Впрочем, до первой метели.

ХАРОН

1.

Зима выдалась лютой. Старожилы в местах этих про стужу такую отродясь не слышали. Вдобавок снегов навалило до невозможности, — только и делали все по утрам, что из-под сугробов тех выгребались. Потом, когда уж миновали все сроки, а зима все не проходила, и сомнение стало брать, пройдет ли, враз жара навалилась, льды и снега стали таять наперегонки, а вслед за жарой — разверзлись и хляби небесные.

Маленький, тихий и добрый Коренек напора такого не вынес, а может, просто накопилась у него обида какая, что так долго его подо льдом в заточении держали, но только он в одну ночь взбесился, как бык ярый, вздыбился, разорвал чуть подтаявший лед, понаделал торосов, к бесам снес деревянный мостишко, простоявший чуть не полвека, и, сметая дальше все на пути, понесся к матери-речке — похвалиться своею силой.

В селе Марьино, что стояло на взгорке, почему вода село и не тронула, оставалось всего-то четыре двора, да шесть человек — остальные либо разъехались, либо умерли — погибало село. Остались лишь те, кому некуда было податься, или кто просто хотел здесь век свой дожить. Но об этом между собою не говорили — незачем, выходило.

2.

Старик не спеша возился по дому, краем уха слушал голос распоясавшейся речки и думал, что еще никогда ему не случалось слышать Коренек так далеко: ну, разливался весной, ну, бузил понемногу, но чтобы такое... А еще он думал, что лодка, слава богу, в надежном месте припрятана, Кореньку ни в коем разе до нее не добраться, хоть тресни! От этой приятной мысли старик даже задвигался шибче: для хорошей рыбалки лодка — первое дело, куда же без лодки.

Он как раз вынимал из печки картошку, когда в дверь постучали и, не дожидаясь ответа, вошли Марья Синцова и Федор Морозов. Постояли немного у двери: Марья обувкой все шаркала об половику, будто подошвы хотела стереть, а Федор (он во всякое время года мерз сильно) на пуговицах кожуха играл — чудно, как на баяне. Старик их не тормозил: раз пришли, значит, дело есть, куда торопиться — так и стоял с горячей картошкой в руках. Потом Марья и Федор молча сели к столу, лицом к старику, Федор снял кепку, пожевал немного сухими губами и, дождавшись, когда хозяин поставит картошку на стол, сказал с расстановкой:

— Митрич... Василий Заварза... ночью... помер, — и замолк, внимательно глядя в глаза старику.

Старик без единого слова спустился в погреб, принес оттуда бутылку с самогоном, миску помидоров соленых, разлил мутную жидкость по граненым стопкам, молча выпил со всеми, с громким стуком поставил стопку на стол, уперся руками в столешницу, а взглядом в Марью и Федора и сказал жестко и внятно:

— Туда скоту и дорога!

Потом снова стали молча сидеть: Федор пуговицы на кожухе теребил, старик бороду пятерней рвал, а Марья, подперев худую щеку, то и дело вздыхала тихонько, да охала, неизвестно о чем. Наконец Федор вроде проснулся, налил себе сам из бутылки, но до рта не донес, поставил стопку обратно на стол и высказал то, зачем вообще они с Марьей пришли:

— Митрич, а ведь Заварзу-то надо бы похоронить. Петро подсобит мне маленько, и гроб к вечеру готов будет. Настасья да Марья все, что положено по их бабьей части, сделают. За тобой дело только. Телефон оборвало, сам знаешь. Вызвать нельзя никого. Да и лежать покойник в дому не должен один, не положено так, не по-людски. К тому же — теплынь. Нужно гроб переправить за речку, а там скажешь Тимофееву Николаю, на Холодную гору он гроб уже сам с братьями снесет. Лодка у тебя целая, так что тебе и переправлять. Мы с Петром, когда гроб сделаем, скажем; вместе утром его к речке свезем, на корме твоей лодки укрепим, все будет ладом. Тебе, конечно, решать, а только иначе никак. Решай, что ли, Митрич, — и стопку в рот опрокинул.

3.